

Идейное взаимодействие с друзьями и коллегами

Разговор Юргена Хабермаса с Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом¹

Штефан Мюллер-Дом, Роман Йос: Вы очень методично фиксируете все, что определяющим образом на вас повлияло (как в позитивном, так и в негативном смысле), – это, можно сказать, особенность ваших трудов: речь идет не только о систематическом перечислении источников, но еще и о целом ряде сторонних заметок (посвящений, некрологов и портретов), при помощи которых вы опять же настойчиво напоминаете об источниках влияния. Сам формат, сам стиль этого поджанра в корпусе ваших сочинений задается, пожалуй, книгой «Философско-политические профили» – и до сих пор вы остаетесь этому подходу верны. Почему вас привлекает такой тип рефлексии?

Юрген Хабермас: Действительно, подобная практика вошла у меня в привычку. Но до сих пор я даже не предполагал, что



Юрген Хабермас (р.1929) – немецкий философ и социолог, представитель второго поколения Франкфуртской школы, автор концепций коммуникативного действия и этики дискурса.

1 Публикация представляет собой шестую главу из книги Юргена Хабермаса «Что-то должно было улучшаться...»: разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом», русский перевод которой готовится к выходу в серии «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”» издательства «Новое литературное обозрение». Перевод осуществлен по: HABERMAS J. “Es musste etwas besser werden...”: Gespräche mit Stefan Müller-Doohm und Roman Yos. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2024.



ПОЛИТИКА
КУЛЬТУРЫ

она нуждается в объяснении. Во всяком случае сам я о ней никогда не задумывался. Вообще, когда я принимаю участие в публичных дискуссиях, ведущихся через прессу, редакторы по тому или иному поводу часто просят меня рассказать что-нибудь о моих знаменитых коллегах и друзьях – или просто о каком-нибудь общественном деятеле. Но благодаря вашему вопросу я осознал, что эти очерки *ad personam* распадаются на две категории. Чаще всего это посвящения, составленные по конкретному случаю: в большинстве случаев – заметки либо ко дню рождения, либо ко дню памяти. В последние годы, кстати, я все больше пишу в печальной перспективе: старость окружает одиночеством, чаще и чаще писать приходится с точки зрения оставшегося в живых, одного из немногих. Главную роль в подготовке таких работ играют личные отношения с друзьями, коллегами и современниками. Почему за подобные очерки именно я берусь чаще других, сказать точно не могу. Полагаю, что у интеллектуала, выступающего в том числе и публично, есть своего рода долг дружбы, некое товарищеское обязательство. Я, допустим, часто рассказываю не только о коллегах по профессии, но еще о тех писателях, юристах или теологах, которых я застал, – о друзьях или просто знакомых.

Но есть и совершенно другой случай: когда речь заходит о фигурах, воспринимаемых в первую очередь в разрезе интеллектуальной истории. В основном они принадлежат к поколению моих учителей, непосредственных или условных (здесь, допустим, можно вспомнить Ханну Арендт). Среди авторов, определивших мое мышление, есть те, кого я никогда не знал лично (скажем, Бенъямин, Витгенштейн, Кассирер или Ясперс); есть те, с кем я просто порой встречался (скажем, Хайдеггер, Гелен и Блох); но есть и те, с кем у меня по-настоящему завязались личные отношения – где-то более, где-то менее тесные, – так было, допустим, с Адорно, Шолемом, Маркузе и Митчерлихом, с Абендротом, Гадамером, Левитом и Левенталем; авторы всех трех категорий влияли на меня в равной степени.

Я постарался набросать философско-политические профили этих людей – тем более, что они не просто принадлежали к поколению моих учителей, но и вообще сделались заметными фигурами в современной интеллектуальной истории. В своих текстах я сохраняю некоторую дистанцию – как минимум из уважения к трудам этих авторов; а из-за поколенческого разрыва дистанция эта порой сохранялась даже в близких дружеских отношениях. Актуальность в подобных публикациях отступает перед значимостью самих трудов, о которых мне довелось писать. Многие идеи, высказанные этими авторами, так меня вдохновляли и оказывались для меня столь поучительными, что теперь я могу о них рассказывать непрерывно,

хоть разбуди меня ночью. В книгах типа «От чувственного впечатления к символическому выражению» я собирал статьи и того и другого типа (допустим, об Эрнсте Кассирере и об Александре Клуге) – *без разграничения*; объяснятся это тем, что только теперь, после вашего вопроса, я обратил внимание на совершенно различный характер этих работ.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Остается вопрос о том, почему вы так близко соотноситесь с трудами именно этих авторов, уже вошедших в историю философии, почему именно они мотивируют вас на высказывание.

Ю.Х.: Точно сказать не могу. *Ad hoc* могу предложить два объяснения: с одной стороны, особое значение немецкой философии 1920-х, обретшей на том этапе новую продуктивную силу; с другой стороны, наверное, взаимосвязь этих работ с биографией самих авторов. С той поры, как латынь перестала быть главным языком европейского образования и возникли философии на национальных языках, во многих странах Европы успели сложиться некие периоды философской «классики»: так, в Германии это, бесспорно, «Йена около 1800 года» с Гегелем и Шеллингом в центре, с Кантом и Фихте как ориентирами. Такие периоды, в исторических масштабах относительно короткие, характеризуются возникновением целой плеяды заметных фигур, целого ряда законодателей новой традиции с их учением и трудами; возникают и коммуникационные сети из слушателей и читателей. Я не сравниваю эту классическую эпоху немецкого идеализма с немецкоязычной философией 1920-х как минимум из-за разницы в дистанциях по отношению к современности; философии 1920-х не хватает к тому же пространственной концентрации. Но если взять сразу Фрайбург, Берлин, Гейдельберг, Марбург и Лейпциг, а затем прибавить к ним еще Вену, Прагу и Будапешт, то оказывается, что в те годы тоже было немало философов – авторов, преподавателей, студентов; все они что-то писали, и продуктивность в этот последний великий период немецкой философии была просто потрясающей.

В Германии наша философия так и не оправилась от кровопотери 1933 года, когда пошла невиданная волна эмиграции, и вообще от нравственно-интеллектуальной порчи эпохи нацизма. Даже по работам Хайдеггера отчетливо видно, как после захвата власти нацистами немецкая философия резко утратила свое международное значение; период «Бытия и времени» сменился тогда позднехайдеггеровской философией, которая так никогда и не вышла из тени «Черных тетрадей». Лично я наиболее важным считаю не что-нибудь, а сам интеллектуальный вес тех традиций, которые укоренились тогда в наших уни-



верситетах благодаря своей непосредственной актуальности. В период – возьмем широко – между 1900-м и 1933 годом одновременно, взаимно и последовательно развивались трансцендентальная феноменология Гуссерля, логический позитивизм Венского кружка (у Шлика и Карнапа в первую очередь), ранний Хайдеггер, Ясперс и философия экзистенциализма, Эрнст Кассирер, поздний Шелер и философская антропология Плеснера с Геленом, а также гегельянский марксизм у Лукача, Блоха, Беньямина – и, разумеется, критическая теория. После войны мое поколение училось (в самом широком смысле) в длинной тени этих оригинальных школ.

{ В постнацистскую эру мы уже не могли рассматривать учения, не оглядываясь при этом на биографию самих учителей, не могли читать философские труды, не задумываясь о политической судьбе их авторов.

Но есть еще один аспект: в постнацистскую эру мы уже не могли рассматривать эти учения, не оглядываясь при этом на биографию самих учителей, не могли читать философские труды, не задумываясь о политической судьбе их авторов. Нацистская эпоха, пусть и оставшаяся позади, все еще о себе напоминала; из-за нее у мыслителей, которые оставили заметный след в моем академическом образовании, нередко расходились и взгляды, и жизненные пути. Может быть, именно поэтому я и сам так увлекся философско-политическими профилями.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Вы ведь тесно общались с философами, эмигрировавшими из нацистской Германии, причем не только во Франкфуртском Институте социальных исследований, но и в нью-йоркской Новой школе социальных исследований (New School for Social Research), где вы тоже некоторое время работали.

Ю.Х.: Да, в 1967–1968 годы я был там третьим (после Плеснера и фон дер Габленца) профессором по программе Теодора Хойса. В Нью-Йорк мы приехали вместе с Уте и тремя детьми. Юдит была еще совсем маленькой и даже не помнит, как после обеда мы прогуливались по Центральному парку или как боролись с нашествием *German cockroaches* [тараканов-прусаков] в ее комнате. Ребенка учила английский прямо *on the spot* [на месте], и ее нью-йоркские друзья до последнего распознавали у нее верхневестсайдский акцент. Тильман незадолго до нашего отъезда уже начинал учить английский во Франкфурте, так что в Школе Рудольфа Штейнера он прославился как *genius in spelling* [гений правописания].

Впервые мы всей семьей надолго остановились в Соединенных Штатах, впервые по-настоящему столкнулись с этим международным центром XX века. Нам довелось войти в академический мир выдающихся немецких эмигрантов, скрупулезно сохранявших свой образ жизни, и это нас глубоко тронуло. В этом мире сохранялся традиционный менталитет немецких философов, нисколько не искаженный, в политическом смысле по-прежнему целостный; дома, в самой Германии, все это стало глубоко сомнительным: вспоминая свое студенчество, еще до отъезда во Франкфурт. В Новой школе мы при первой же возможности встретились с группой коллег: они, как оказалось, уже подготовили для нас с Уте небольшой прием и сразу, без промедления сами к нам бросились. До сих пор это вижу: во главе – Ханна Арендт, которую я однажды уже видел (правда, со стороны) в Чикагском университете, а за ней – Ханс Йонас и Арон Гурвич со своими супругами. Вопросы у них были на удивление настойчивые, и разговор в целом был отмечен некой смесью любопытства и недоверия. Они знали, конечно, что я прибыл из Франкфурта, так что довольно колко и с легкими инквизиторскими нотками начали выпрашивать об Адорно и Хоркхаймере, о положении Института социальных исследований в Федеративной Республике. Я чувствовал, что меня воспринимают как очень позднего представителя той институции, которую эти эмигранты знали еще по временам Веймарской республики; все они видели, как франкфуртцев великодушно принимают в Колумбийский университет, чтобы те продолжали работу в относительно привилегированных условиях. Я знал, естественно, с каким подозрением – чуть не как на врага – Ханна Арендт смотрела на Адорно, знал и об их злополучном соперничестве за память Бенямина. Поначалу нас просто приперли к стенке, но достаточно быстро разговор вернулся к современности, а вместе с тем разрядилось и первоначальное напряжение. Видимо, нас все-таки сочли достаточно молодыми.

Незабываемо, как по выходным все старонемецкие эмигранты по очереди приглашали нас в гости; удивительная аура безвременья, которая так поразила нас при первой встрече, по-прежнему ощущалась и (теперь уже в другом ключе) подчас целиком определяла ход наших спонтанных бесед. Война закончилась больше двух десятилетий назад, но наше присутствие в этом кругу, видимо, пробудило какие-то давние воспоминания, которыми нас окутывали так плотно, что мы сами как будто в них соучаствовали. На таких ужинах присутствовала иногда супружеская чета Эриха и Аннамарии Гула, а на университетских мероприятиях я повстречал Адольфа Леве, который до эмиграции преподавал во Франкфурте.



Ханна Арендт, конечно, была человеком необыкновенным, а особенно ею восхищался Ханс Йонас, ее близкий друг. Взгляд у нее был острый, а лицо настолько выразительное, что надолго оставалось в памяти. Было в ней что-то властное; манеры у Арендт были элитарные, а свои суждения (очень уверенные, подчас даже самоуверенные) она всегда высказывала прямо и без обиняков. Мировой славой она тогда еще не пользовалась, но в своей профессии и вообще среди специалистов уже добилась международного признания. Для широкой публики она оставалась воинственным интеллектуалом, известной в первую очередь из-за споров (с Шолемом в том числе) вокруг ее книги об Эйхмане, а также благодаря ее поддержке студенческого движения. Сама Арендт очень ценила свой статус; я это подметил, когда она пригласила нас с Уве Йонсоном (в те годы он писал на Манхэттене свои «Годовщины») на кофе. Там же присутствовал Генрих Блюхер (муж Ханны Арендт), и весь вечер мы трое просто сидели и молча слушали, как она ведет беседы с прославленным Уистеном Хью Оденом, занявшим свое место напротив нее за маленьким столиком у окна. Но широкие контакты не меняли очевидного обстоятельства: Арендт вместе с Хансом Йонасом и Ароном Гурвичем входила в очень узкий круг, отчего эмигрантское самосознание и оставалось у них в неизменном виде.

Гурвич пользовался большим авторитетом в тогда еще существовавшем «Phenomenological Society», а Йонас воспрял духом чуть позже, когда его натурфилософские труды и разработанная у него экологическая этика нашли вдруг достаточно заметный отклик в Германии. Эта группа, как мне показалось, была во многом изолирована от общеамериканской философской среды, в рамках которой другие немецкие эмигранты (Карнап в первую очередь, но и Гемпель тоже) пользовались немалым влиянием. Видимо, в профессиональном смысле их мышление оставалось слишком *континентальным*. Но в самой Новой школе на пике протестов против войны во Вьетнаме студенты брались за Гегеля и Маркса, так что и от своих преподавателей они были в восторге – пусть даже свои радикальные политические потребности удовлетворять им приходилось в других местах.

Ш.М.-Д., Р.Й.: В связи с Гершомом Шолемом, которого вы упомянули, нам вспоминается, что вы несколько раз побывали в Израиле. Что для вас означали эти поездки?

Ю.Х.: Да, Израиль – это был другой полюс. Гершом Шолем, когда мы с Уте впервые приехали в Иерусалим на его восьмидесятилетие (это был 1977 год), преподнес, можно сказать, весь

свой город нам в подарок. От Академии он ухитрился получить машину с водителем и как заправский экскурсовод провез нас по всем районам и окрестностям этого в образцовом смысле исторического города. Сам Шолем, будучи сионистом, переехал на эти земли еще в 1923 году, а потом между прочим никогда не закрывал глаз на проблему изгнания палестинцев. Немецкое посольство в Тель-Авиве устроило церемонию в его честь, а дальше Шолем читал фрагменты из своих только вышедших тогда воспоминаний «Из Берлина в Иерусалим»; среди собравшихся были сплошь немецкие эмигранты, так что на каждое название берлинских улиц зал реагировал с болезненным узнаванием.

С тех пор я много раз бывал в Израиле, однажды мы всей семьей даже пробыли там несколько недель: меня пригласили прочитать курс лекций в иерусалимском Институте Ван Лера, где раньше я уже бывал и где познакомился с Иегудой Элкана. За эти несколько недель разразилась Ливанская война, так что мы увидели Израиль в турбулентном мобилизационном состоянии; это страна удивительной красоты, но – как нам довелось убедиться – по сути своей она постоянно пребывает в опасности. Воспоминания об Израиле, как ни об одной другой стране мира, отчетливо соотносятся у меня с настроениями и пластическими образами: помню похороны Шолема – открытое небо на вершине горы Скопус, длинная траурная процессия, и каждый кладет на могилу свой камень; помню, как сияло солнце и развевались флаги перед университетом, когда мне торжественно присваивали степень почетного доктора. В последний раз мы побывали в Иерусалиме в 2012 году: мне довелось тогда открывать в Академии цикл лекций по Буберу². В Тель-Авив всегда приезжаешь с чувством облегчения – это один из самых современных городов мира, начавшийся с модернистской застройки в стиле баухауса, – но Иерусалим все равно притягивает к себе через какой-то неудержимый водоворот истории, которой этот город живет и дышит по сей день.

Ш.М.-Д., Р.Й.: А что представляли собой ваши отношения с Шолем на интеллектуальном уровне? Повлияла ли каким-то образом его мысль на ваши труды?

Ю.Х.: Среди израильских друзей и коллег Шолем, конечно, был мне особенно близок, и не только оттого, что всю свою жизнь – нельзя об этом не сказать! – он берег память о своем друге Вальтере Беньямине, которого Шолем почитал за настоящего мистика; и даже не только оттого, что он вместе с Гретьель

² ИДЕМ. *Martin Buber – Dialogphilosophie im zeitgeschichtlichen Kontext // Im Sag der Technokratie. Kleine politische Schriften XII*. Berlin, 2013. S. 27–46.



и Тедди Адорно работал над изданием бенъяминовского наследия, которое пользовалось неожиданным на то время успехом³. Мы с Шолем могли бы встретиться намного раньше, во Франкфуртском институте или в издательстве «Suhrkamp», но на деле знакомство произошло, если я правильно помню, лишь в 1963 году, когда Шолем сам пришел ко мне с вопросом по поводу одного примечания. К тому времени я прочел книгу Шолема «Иудейская мистика в ее основных течениях» и узнал оттуда о любопытнейших совпадениях у таких далеких современников, как Якоб Бёме и Исаак Лурия; на этот интересный факт я сослался в одной из своих статей. Как удивительным образом оказалось, в одном из примечаний я сумел подобрать какую-то удачную формулировку, которая, очевидно незаслуженным образом, принесла мне всецелое уважение со стороны самого Шолема. Из первой симпатии, которую я всегда считал подарком судьбы, зародилась долгая дружба семьями; потом многократно мы навещали друг друга. В более поздние годы Шолем (чаще всего со своей женой Фанией) регулярно заезжал к нам в Штарнберг, когда возвращался из Цюриха, где вел исследования. Он всегда привозил нашим детям дорогие конфеты с Банхофштрассе – и всегда с шутливой просьбой сначала попробовать их самому.

Ш.М.-Д., Р.Й.: О чем вы с Шолем говорили при первой встрече во Франкфурте, которую вы сейчас упомянули?

Ю.Х.: Он захотел со мной поговорить по прочтении моей статьи о Шеллинге из «Теории и практики»⁴. Мистическая идея о сжати божества – то есть о его самоограничении, благодаря которому еще до всякого сотворения уже существовала некая «природа в божестве» или некое «ничто», – играла заметную роль в натурфилософском мышлении немецких идеалистов и в более позднем материалистическом повороте. В упомянутой книге Шолема я нашел рассказ о любопытном визите швабского пиетиста Этингера к раввину во франкфуртском еврейском квартале. Пиетистский богослов хотел побольше узнать об иудейском мистицизме Исаака Лурии, но раввин неожиданно посоветовал ему почитать современника Лурии – Якоба Бёме, у которого можно найти очень схожие идеи. Мое внимание к таким вещам даже пробудило у Шолема интерес к давно забытой моей диссертации, и он, его собственными словами, «излюбопытствовал» у меня один экземпляр. Работами Шолема по

³ Ср. с: IDEM. *Vom Funken der Wahrheit* // Die Zeit. 2015. 9 April. S. 43.

⁴ IDEM. *Dialektischer Idealismus im Übergang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerungen aus Schellings Idee einer Contraction Gottes* // Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Neuwied; Berlin, 1963. S. 108–161.

иудейской мистике сам я заинтересовался через тот же мотив, который, должно быть, подталкивал самого автора всю жизнь: исследовать эту антиномическую традицию – традицию преодоления зла через грех как таковой – вплоть до ее позднейших ответвлений в эпоху Французской революции через убежденность (тоже, в конечном счете, имеющую религиозные основания) в том, что Просвещение только преображало мистические образы, а не поглощало их.

ИДЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ...

Ш.М.-Д., Р.Й.: Можно ли, на ваш взгляд, как-то обобщить значение личных контактов для философии в целом?

Ю.Х.: Наука живет за счет профессионального обмена знаниями между коллегами: будь то лабораторная работа у естествоиспытателей, полевая у социологов или «сидячая» у философов – за письменным столом или на семинарах. В конечном счете, важны только идеи. Но оригинальные идеи увязываются с личностями; причем привязка эта тем сильнее, чем больше сама идея обязана абдуктивным прозрениям вместо методичного продвижения. В философии прогресс чаще всего отмечен именно прозрениями – в этом смысле она отличается от других наук, регламентированных куда строже.

Наука живет за счет профессионального обмена знаниями между коллегами. В конечном счете, важны только идеи. Но оригинальные идеи увязываются с личностями; причем привязка эта тем сильнее, чем больше сама идея обязана абдуктивным прозрениям вместо методичного продвижения.

Ш.М.-Д., Р.Й.: В другом месте вы отмечали, что самая интенсивная работа пришлась у вас на аналитическую философию языка, какой она сложилась в XX столетии. Примером тому служат тексты, собранные в «Истине и оправдании»: вы подробно рассматриваете труды американских философов, работавших в данном направлении. С кем-то из них вы были знакомы лично. Важен ли – для дела – был этот личный контакт?

Ю.Х.: Конечно, личные контакты во многих случаях были очень важны, причем как для дела, так и сами по себе: одно от другого чаще всего отделить невозможно. Мы десятилетиями дружили с Томом Маккарти, Диком Бернстайном, Диком Рорти, и в этом смысле мои отношения с американцами ничем



не отличались от тесного сотрудничества с немецкими коллегами. Но, разумеется, аналитический образ мысли я в первую очередь постигал через чтение: с авторами вроде Олстона или Райла, Карнапа или Даммита я никогда не встречался лично, а со Стросоном, Куайном и Дэвидсоном мне довелось контактировать, но очень поверхностно и мимолетно. С Дэвидсоном я познакомился в Мадриде на одной немецко-американской конференции, но о том, насколько комплексным было его образование – он изучал классическую филологию под началом Вернера Йегера и защитил диссертацию по «Филебу», – мне довелось узнать только во Франкфурте, когда Дэвидсон приезжал на университетский семинар и как-то вместе с женой зашел к нам на завтрак. Но ваш вопрос, как я понял, скорее касается более тесных связей со знаменитыми американскими коллегами, с теми из них, кого я знал долгое время и с кем имел более близкие контакты?

Ш.М.-Д., Р.Й.: Именно так: нас интересует соприкосновение чтения и личного общения, ведь в готовых текстах чаще всего этой взаимосвязи уже не видно.

Ю.Х.: Самые тесные отношения, как я уже упоминал, сложились у меня еще с 1970-е с Томом Маккарти, а также с Диком Бернштейном и Диком Рорти, которые в свою очередь тоже близко между собой дружили. С Томом мы познакомились в начале 1970-х, когда он с графом Баллестремом, – тоже очень симпатичным человеком – прибыл в наш штарнбергский Институт Макса Планка с намерением обсудить со мной, как с автором «Познания и интереса», несколько вопросов по части теории познания. Если я правильно помню, два друга – Маккарти и Баллестрем – стояли тогда на позициях американского мейнстрима, сложившегося под влиянием Рудольфа Карнапа; их учитель Николаус Лобковиц (как раз в те годы он получил должность в Мюнхене по приглашению Гельмута Куна) поручил им написать критический очерк о Хабермаса – что они и сделали, выдвинув более или менее предсказуемые аргументы. Но сам разговор с этой парой очень интеллигентных ассистентов получился по-американски непринужденным.

Том позднее мне признавался, что свои тогдашние философские взгляды он отчасти пересмотрел после того, как по настоянию своих мюнхенских студентов из движения SDS [«Students for a Democratic Society»] дополнил программу будущего семинара моей обзорной работой «К логике общественных наук». Переубедил его скорее всего сам герменевтический подход к социальным данным. Чуть позже Том получил Гумбольдтовскую стипендию и сам перешел в Штарнбергский институт;

так началась наша дискуссия, которая и по сей день еще не завершена. Пожалуй, именно Том лучше всех знает мою линию аргументации, равно как и всю сеть возражений и оправданий, которую мы разработали с ним на пару. В 1978 году он опубликовал в Америке книгу о моей теории, и скорее всего именно этому факту я и обязан своими американскими успехами⁵. Самобытность его философской мысли до сих пор недооценивают, а в двух его книгах она блестяще проявилась: я имею в виду «Ideals and Illusions» и «Race, Empire, and the Idea of Human Development», на английском вышедшие соответственно в 1991-м и в 2009 году, а позже переведенные на немецкий⁶. И все это – лишь внешняя, публичная сторона нашей дружбы длиной в жизнь; Пэт и Уте, кстати, тоже между собой сдружились.

О своей не менее долгой дружбе с Диком Бернштейном я однажды уже рассказывал⁷. В 1972 году я побывал с научной командировкой в Центре гуманитарных исследований при Уэслианском университете в Мидлтауне и тогда же получил приглашение от коллеги из Хейверфорда: без лишних церемоний он просто пригласил меня провести у них лекцию. Он прочел «Knowledge and Human Interest» и обнаружил глубокую взаимосвязь в наших теоретических установках. Дик немедленно обезоружил меня своей дружелюбной прямоотой и сразу же дал понять, что нам с ним многое нужно обсудить. Он встретил меня в аэропорту, и, как мне показалось, мы с первого взгляда друг к другу расположились. К гостям он относился с необыкновенным вниманием и великодушием.

Бернштейн был прагматиком по природе: в его неустанных занятиях философией не было ничего отвлеченно академического. Читая его «Практику и действие»⁸, я не мог не обратить внимания на удивительное сходство в наших с ним философских предпосылках. Я сразу же предложил эту книгу издательству «Suhrkamp». Начиналась она с Гегеля и Маркса, а в следующей главе Бернштейн затрагивал уже Кьеркегора и Сартра – то есть именно тех авторов, которые так впечатлили меня в годы моего ученичества (сначала в Цюрихе, а затем в Бонне), – в центральной же части книги все эти разнотонные влияния увязывались с Пирсом и Дьюи. Очень быстро, конечно, мы с Диком поняли, что к прагматизму Пирса мы под-

5 MCCARTHY T. *The Critical Theory of Jürgen Habermas*. Cambridge, 1978; нем. издание: IDEM. *Kritik der Verständigungsverhältnisse. Zur Theorie von Jürgen Habermas*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.

6 IDEM. *Ideale und Illusionen. Dekonstruktion und Rekonstruktion in der kritischen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993; IDEM. *Rassismus, Imperialismus und die Idee humaner Entwicklung*. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015.

7 HABERMAS J. *For my Friend Richard J. Bernstein* // *Constellations*. 2023. № 1. P. 5–7.

8 BERNSTEIN R.J. *Praxis and Action. Contemporary Philosophies of Human Activity*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971; нем. издание: IDEM. *Praxis und Handeln*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975.



ступали с разных точек зрения. Бернштейн прочитывал этого автора совершенно в духе американской традиции: в пре-ломлении через Дьюи и скорее в гегельянском духе; я же под влиянием Апеля рассматривал Пирса в ином ключе – больше через Канта, что с исторической точки зрения тоже вполне корректно.

Мне всегда казалось, что между мной и Диком стоит только Дьюи, с его неприятием кантовской этики в строгом ее прочтении (скорее всего неприятие это еще укрепилось в ходе Первой мировой). Я со своей стороны к тому времени представил уже (в третьей части «Проблем легитимации позднего капитализма»⁹) дискурсивно-этическую версию кантовского морального принципа. А завершающая глава из уже упомянутой первой книги Бернштейна являет собой не что иное, как прагматическую переработку аналитической теории действия. Тема эта меня в высшей степени заняла, поскольку тогда я уже приступил к систематической разработке своей теории коммуникативного действия.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Но особенно широко известен третий из ваших американских друзей...

Ю.Х.: Да, это был Ричард Рорти, и именно он впервые обратил мое внимание на Дональда Дэвидсона. В 1971 году, когда я читал лекции по программе Кристиана Гаусса в Принстоне¹⁰, он заметил наш общий интерес к прагматическому повороту в философии языка и потому несколько раз подходил ко мне после обсуждений. Затем мы снова встретились в Сан-Диего на конференции по Хайдеггеру; Рорти – как он часто это делал в более поздние годы – прославлял там Дьюи и Витгенштейна, которых наравне с поздним Хайдеггером считал своими путеводными звездами на философском небосводе. На этот съезд меня, можно сказать, откомандировал Герберт Маркузе: ему самому срочно нужно было срочно ехать в Париж; конференция, надо сказать, все равно открылась видеозаписью с интервью Маркузе, в котором он рассказывал о своей учебе под началом Хайдеггера. Когда Рорти говорил о своих «героях», я решительно возражал против такого сопоставления: Дьюи, Хайдеггер, Витгенштейн; Рорти же в ответ немедленно пригласил меня заехать на обратном пути к нему в Принстон и обсудить там «Knowledge and Human Interest» на семинаре. Так на всю

9 HABERMAS J. *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973. S. 140–152.

10 IDEM. *Vorlesungen zu einer sprachtheoretischen Grundlegung der Soziologie (1970/71) // Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1984. S. 11–126. Печата-но в: IDEM. *Philosophische Texte. Studienausgabe in fünf Bänden. Bd. I: Sprachtheoretische Grundlegung der Soziologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2009. S. 29–156.

жизнь и скрепилась еще одна дружба. Никогда между прочим мы не обсуждали его академическую судьбу: аналитическая ортодоксия самым абсурдным образом от него отвернулась, а ведь он был одним из первых и самых интересных ее представителей! В поздние годы он жил, словно в изгнании, и преподавал на литературоведческом факультете в Стэнфорде. Когда Рорти умер, я (по просьбе его вдовы Мэри) прочитал в Стэнфорде мемориальную лекцию¹¹. Незадолго до смерти Дик писал мне по электронной почте с типичной для него горькой иронией, что болезнь у него та же самая, от которой умер Деррида, а его дочь говорит, что это, наверное, от «reading too much Heidegger» [чрезмерного чтения Хайдеггера].

Для возрождения прагматизма в США никто не сделал больше, чем Рорти вместе с нашим общим другом Диком Бернштайном. Во многом мы по-разному смотрели на эту традицию, и потому темы для дискуссий просто не иссякали, но все-таки прагматизм составлял для нас общее основание, вполне крепкое, когда речь заходила о Дьюи и о вопросах политической теории. Общность базовых политических убеждений была для нас необходимой предпосылкой, поскольку теория морали и теория истины вызывали у нас самые ожесточенные споры. Дик очень твердо придерживался этики сострадания, идущей от Юма, а также своих понятийных представлений об истине: реалистических, но и релятивистских в то же время. Общеизвестный факт: Рорти был не только успешным автором – интеллектуальным виртуозом высшего разряда, умевшим провоцировать дискуссии и всегда выдвигавшим остроумные идеи, – но еще блестящим стилистом и восхитительным оратором. Мы постоянно встречались и много дискутировали в публичной сфере: соперником в спорах он был мягко говоря непростым. Мы с ним принимали участие в одних и тех же конференциях, проходивших как в Германии и США, так и в других странах – Польше, Сербии, Франции. Дик говорил, что меня и Деррида он понимает лучше, чем мы сами понимаем себя и друг друга. Когда мы вместе получили почетные докторские степени в Сорбонне, для Рорти это стало каким-то особым удовлетворением.

Вспоминая теперь наши многочисленные дискуссии, я описал бы эти отношения как в первую очередь взаимообучающие. Наши контрастирующие позиции очень ясно проявлялись благодаря широкому общему фону, благодаря взаимодополняющим общим предпосылкам. Кроме того, именно Дик, пожалуй, открыл мне глаза на своего учителя Уилфрида Селларса: хотя еще в 1960-е я брался было за диссертацию по его трудам, только благодаря Рорти я действительно понял революцион-

11 ИДЕМ. «*And to Define America, Her Athletic Democracy*». *Im Andenken an Richard Rorty // Ach Europa. Kleine Politische Schriften XI*. Frankfurt am Main, 2008. S. 24–39.

ное значение работ Селларса для критики ментализма и для фундаментального обоснования лингвистической прагматики. Когда я под конец 1990-х преподавал в Эванстоне, Рорти прислал мне новое издание книги Селларса «*Empiricism and the Philosophy of Mind*», которое Рорти подготовил вместе со своим учеником Робертом Брэндомом¹². Тексту было предпослано рукописное посвящение, в котором Дик, как обычно, приуменьшал свои заслуги: «I expect to be footnoted in the history books as the man who told Brandom about Sellars – a twisted link in the chain» [«Полагаю, что в учебниках истории сделают сноску обо мне как о человеке, который рассказал Брэндому о Селларсе, – как о кривом звене в общей цепи»].

За три года до этого Брэндом опубликовал «*Making It Explicit*»¹³. Со своим выдающимся учеником Рорти познакомил меня еще раньше, на небольшой и узкоспециализированной конференции в Шарлотсвилле. В этом историческом месте Томас Джефферсон спроектировал впечатляющий архитектурный план нового университета в классицистском стиле – теперь это Виргинский университет – со внушительным главным зданием (в котором располагается библиотека), венчающим длинный и строго симметричный комплекс факультетов; за каждым из малых зданий выстроены европейского типа столовые, в которых *southern gentlemen* [южные джентльмены] наслаждались кулинарными изысками континентальной культуры. Здесь после своего бегства из Принстона Рорти преподавал на протяжении многих лет.

О выходе главной книги Брэндона – а это и вправду выдающийся труд! – Дик возвестил мне: «Вот именно та семантика, которой так не хватало моей формальной прагматике». Собственно, такое же значение эта книга приобрела и для меня: я нашел в ней логическую семантику на прагматической базе дискурсов. Чтение было не из легких и даже изнуряло, но в итоге работа Брэндона так захватывала и наполняла таким удовлетворением, что я даже удивлялся: подобный читательский опыт открывался мне только в молодые годы, да и то изредка. Решающий идейный импульс для собственной работы крайне редко приходит при чтении чужих трудов: если честно, то в большинстве случаев таких книг (еще реже статей) назвать можно не больше дюжины, а подчас и полдюжины набирается с трудом. С Брэндомом я потом еще несколько раз встречался – сначала в Эванстоне, а затем во Франкфурте и Мюнхене. Гово-

12 SELLARS W. *Empiricism and the Philosophy of Mind*. Cambridge: Harvard University Press, 1997; нем. издание: IDEM. *Der Empirismus und die Philosophie des Geistes*. Paderborn: Mentis Verlag, 1999.

13 BRANDON R.B. *Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment*. Cambridge: Harvard University Press, 1994; нем. издание: IDEM. *Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskursive Festlegung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2000.

рили мы в основном о лекциях, с которыми он выступал. Не могу сказать, что я узнал Брэндома по-настоящему как человека; в глаза всегда бросалась его яркая внешность: бородатый философ, именно такой, каким в былые времена вообще представляли себе настоящего философа. Не знаю к тому же, как Брэндом относится к моей теории (в своих публикациях – за исключением небольшого специального посвящения – он ссылается на меня лишь мимоходом): принял ли он ее к сведению или же он, главным образом, вспоминает обо мне как о друге своего высокочтимого учителя.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Кого еще можно вспомнить из ваших американских коллег?

Ю.Х.: Совершенно другими – не как с Рорти – были мои отношения с Джоном Сёрлом; его труды, кстати, я прочел еще до личного знакомства. В середине 1960-х – изучив труды Витгенштейна, Остина и представителей английской школы языкового анализа – я начал вникать в лингвистику и углубился в дискуссию, запущенную тогда Ноамом Хомским; здесь я и наткнулся на очень зрелую и целостную теорию речевых актов, предложенную у Джона Сёрла¹⁴. Книга Сёрла проложила мне путь к формальной языковой прагматике, посредством которой я сумел ответить на основной вопрос социологической теории действия, касающийся порождающих условий социальной интеракции: как интенции действия у Его могут органично увязываться с таковыми у Alter? Я подступил к этому вопросу на основе анализа речевой интерсубъективности, и так возникла теория коммуникативного действия. Именно эта языковая концепция, развитая из соотнесений типа «Я–Ты» и гумбольдтовского системного взгляда на личные местоимения – над ней я работал еще с боннских времен, еще вместе с Апелем, – и сделалась, в конечном счете, камнем преткновения в наших отношениях с Сёрлом¹⁵.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Вы имеете в виду его ментализм?

Ю.Х.: Именно так. Я даже не предполагал, что за теорией речевых актов стоит этот самый ментализм. С Сёрлом мы лично познакомились в 1980 году, когда я проводил семестр в Беркли. Я посетил тогда его семинар (проводимый совместно с Хьюбертом Дрейфузом) по гуссерлевскому жизненному миру

14 SEARLE J.R. *Speech Acts. An Essay on the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969; нем. издание: IDEM. *Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.

15 Об этом направлении в философии языка см.: SEEL M. *Spiele der Sprache*. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2023. S. 17–126.



как языковому «фону» коммуникации; а потом Сёрл и Дрейфус вместе пришли уже на мой семинар по Макс Веберу (по приглашению Роберта Беллы я преподавал на социологическом отделении). Контакт с Сёрлом, прямой и непосредственный, а в скором времени – открытый и дружеский, оказался для меня и полезным, и в социальном отношении приятным. В политическом плане Сёрл поддерживал протестующих студентов, хотя, как и я, относился к этому движению с долей критики. Он всегда умел чем-нибудь удивить. Помню, как за ужином вдруг оказалось, что Сёрл еще и знаток хорошего вина. В середине 1980-х я пригласил его во Франкфурт на летний семестр, а к тому времени он уже опубликовал свою книгу «Intentionality», в которой теория речевых актов вопреки своим витгенштейновским предпосылкам уже пошла на резкий поворот в сторону ментализма¹⁶.

На семинарах (вели мы их вместе с Апелем) по этому поводу разразились жаркие споры. Сёрл отличился точными и остроумными замечаниями, Апель – пламенными репликами. Сёрлу – а он любил покататься по немецким автобанам на своем здесь же купленном «Мерседесе» – все это, кажется, представлялось забавным. Но в последующие годы, когда мы с Апелем в том числе и публично оспаривали сёрловский ментализм, тональность становилась все жестче, а аргументы – все беспощаднее, в том числе и по стилю. Потому в публичной сфере я даже не стал обсуждать более позднюю попытку Сёрла вывести – совершенно без учета языковых аспектов – ключевые социологические понятия из базового представления о коллективной интенциональности. В каком-то смысле мы, так сказать, встретились снова, когда независимо друг от друга и с совершенно разных точек зрения одновременно раскритиковали интерпретацию иллокутивности, которую дал Деррида.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Какими были ваши взаимоотношения с Хилари Патнэмом, которого вы хорошо знали и который неоднократно менял свои философские взгляды самым коренным образом?

Ю.Х.: Отношения с Хилари Патнэмом с самого начала были очень дружескими, и таковыми они всегда оставались. Хилари пригласил меня в Гарвард – кажется, это было в начале 1970-х: по крайней мере студенческие протесты на тот момент еще определенно не улеглись окончательно – и в Кембридже приветствовал такими словами: «Hello, Jürgen, you must know – I am an Engelsian» [«Здравствуйте, Юрген, вам следует

16 SEARLE J.R. *Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; нем. издание: IDEM. *Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.

знать: я – энгельсианец»]. За такой саморекомендацией стоял математик и теоретик науки, знакомый к тому же с физикой, поддерживавший студентов-марксистов и сам нашедший свой путь к Марксу через натурфилософию Энгельса. В этот момент, как бы то ни было, я сразу понял, почему он вообще меня пригласил. Патнэм, как и Рорти, был что называется *red diaper baby* [ребенком в красных подгузниках]: он рос в семье коммунистов и всю свою жизнь оставался убежденным левым. На тот момент он прочел какие-то наши с Апелем работы и заинтересовался современным вкладом в марксистскую общественную теорию. Думаю, ничего другого он тогда от меня и не ждал. Я, конечно же, был наслышан о статусе Патнэма; знал и о том, что он учился у Райхенбаха. Тем не менее его сочинения я в те годы даже не видел: в Штарнберге, помимо философии языка, я занимался только общественно-научными вопросами. На момент нашей встречи Патнэм скорее всего уже размышлял над темами, к которым подступил затем в последней главе своей «Reason, Truth, and History»¹⁷. Сошлись мы, конечно же, благодаря политическим убеждениям. Но в итоге я многому у Патнэма научился, особенно по части теории познания.

ИДЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ...

Решающий идейный импульс для собственной работы } крайне редко приходит при чтении чужих трудов.

В последующие четыре десятилетия мы встречались с ним снова и снова по самым разным поводам. Он даже провел как-то целый год во Франкфурте по приглашению Вильгельма Эсслера. На юге Франции Патнэм однажды позвал с собой Уте и твердо вознамерился найти наконец тот дом, в котором он жил с родителями в раннем детстве, вплоть до первых школьных лет. Позднее своей вступительной лекцией он открывал во Франкфурте конференцию по случаю моего семидесятилетия¹⁸. Мы оба отталкивались от Витгенштейна и потому в философии языка быстро нашли общие основания. Что же касается теории познания, то я очень глубоко усвоил внутренний реализм Патнэма: в какой-то момент я даже начал защищать эту линию в разговорах с самим Патнэмом, который на тот момент уже развернулся к эмпиризму. Его каузальная теория значений показалась мне в высшей степени убедительной. Но в теории морали камнем преткновения, несмотря даже на общие прагматические предпосылки, для нас всегда оставалось

¹⁷ PUTNAM H. *Reason, Truth, and History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981; нем. издание: IDEM. *Vernunft, Wahrheit und Geschichte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982.

¹⁸ IDEM. *Werte und Normen* // WINGERT L., GÜNTHER K. (Hg.). *Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit. Festschrift für Jürgen Habermas*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001. S. 280–313.

отношение к Канту – точно так же, как и в случае с Бернштейном. Публично мы в последний раз дискутировали с Патнэмом в 2000 году: это был разговор о «ценностях против норм» на организованном в честь Патнэма мюнстерском конгрессе¹⁹. В следующие десять лет мы еще несколько раз при схожих обстоятельствах встречались с ним в Эванстоне, но, к сожалению, возможности побеседовать о последнем повороте Патнэма так и не представилось; а он от философской этики обратился к сущностному содержанию трех, как он однажды выразился, укорененных в Иерусалиме «авраамических религий», то есть, в общем, вернулся к иудаизму.

Ш.М.-Д., Р.Й.: С каких пор вы по-настоящему погрузились в идейную традицию лингвистического анализа?

Ю.Х.: Все началось в Гейдельберге: с Витгенштейна, с Карнапа, с Поппера, от которых я критически дистанцировался, и с апелевского указания на ранние работы Пирса. Со второй половины 1960-х я начал активно заниматься лингвистикой и читал труды британских аналитиков. От Витгенштейна, герменевтики и фрейдовского аналитического метода я шагнул к теории коммуникативного действия, и здесь наиболее значительную роль сыграло интенсивное изучение всей литературы по теории истинности и – самое главное – по теории речевых актов. После «Теории коммуникативного действия», если отставить влияние Брэндома, я главным образом занимался совершенствованием, уточнением и дальнейшим развитием своего теоретического подхода, а в 1990-е разрабатывал дискурсивную теорию морали и ее дополнения в виде теории права и теории демократии. Здесь уже на первом месте стояло взаимодействие с Джоном Ролзом и Рональдом Дворкином, а также обращение к таким авторам, как Фрэнк Михельман или, скажем, Юн Эльстер.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Правда ли, что влияние аналитической философии оказалось решающим только для вашей теории языка, а в вашей практической философии оно не столь уж значительно?

Ю.Х.: Крупица истины в этом есть, но в целом дела обстоят несколько иначе, ведь анализ – это в первую очередь стиль, охватывающий собой все «философствование» как таковое. Тем не менее мой вариант теории морали восходит в гораздо боль-

19 HABERMAS J. *Werte und Normen. Ein Kommentar zu Hilary Putnams kantischem Pragmatismus* // RATERS M.L., WILLASCHKE M. (Hg.). *Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2002. S. 280–305; перепечатано в: HABERMAS J. *Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004. S. 271–298.

шей степени не к англосаксонским импульсам, а к разговорам с Апелем, к дискуссиям с Паулем Лоренцем и – в более поздние годы – с моим другом Эрнстом Тугендхатом. Кроме того, прояснению моих идей очень способствовало постоянное их обсуждение с Томом Маккарти.

Особым значением для меня, конечно же, отмечен и «семейный конфликт» с Джоном Ролзом. Ролз был старше меня всего лишь на восемь лет, но с самого начала он внушал мне благоговение как философ глобального значения и всемирной известности – мое отношение нисколько не изменилось, даже когда мы познакомились с ним поближе. В 1980-е, если память мне не изменяет, я принимал участие в одном из его кембриджских семинаров – и сразу же был поражен радушием и предупредительностью этого очень скромного, абсолютно не тщеславного человека. Из всех коллег, с которыми я встречался в жизни, только Ролз с его принципиально непретенциозным поведением умел мгновенно вызывать какое-то особое к себе доверие, сохраняя при этом дистанцию. Меня Ролз, судя по всему, уже знал: потому, возможно, что мой сын Тильман, учась в Гарварде, посещал какой-то из его семинаров.

Тексты Ролза я, конечно же, читал уже довольно давно. Поражаюсь, однако же, что «Теорию справедливости» – судя по многочисленным пометкам и записям из моего экземпляра с немецким переводом этой книги – я внимательно прочел не раньше 1975 года – и скорее всего по рекомендации Эрнста Тугендхата. Я в тот момент целиком был захвачен началами собственной теории дискурса, разработанной совместно с Карлом-Отто Апелем и в разговорах с «эрлангенцами», так что позиция Ролза, явно кантианская по происхождению и тщательно разработанная во всех деталях, меня, конечно же, восхитила. Годом ранее у нас под редакцией Манфреда Риделя вышел сборник «К реабилитации практической философии»: своего рода неокончательный обзор, посвященный широкому спектру подходов к этике, разработанных в Федеративной Республике и, по существу, не выходящих за рамки уже сложившихся традиций. Книга Ролза же представляла собой поворотный пункт для этой дисциплины, причем как с точки зрения метода, так и по содержанию.

Что касается метода, то ни одно морально-теоретическое исследование не могло – и до сих пор не может – даже сравниться с «Теорией справедливости» ни по части систематизма и, главное, гуссерлевского пафоса «исполнения», ни в том, что касается детализированного анализа – ясного, обширного и тщательного. А чтобы оценить значение этой книги в содержательной перспективе, нужно в первую очередь вспомнить, какая ситуация сложилась на тот момент в англосаксонской философии,



задававшей тон во всем мире: эмпирический подход, предложенный аналитиками языка – наследниками Гоббса, Юма, Бентама и Джона Стюарта Милля, – господствовал в практической философии повсеместно и практически не знал конкуренции. А с появлением великой книги Ролза все это господство как ветром сдуло. Вместо целерациональности, чувства, интереса и решения, на передний план заступил отныне практический разум, обобщающий всякие интересы.

Ш.М.-Д., Р.Й.: А лично вам теория Ролза тоже показалась убедительной?

Ю.Х.: Что ж, я с самого начала рассматривал эту теорию с конструктивистской точки зрения, которую сам Ролз изложил в своих лекциях 1980 года, посвященных Дьюи и прочитанных в Колумбийском университете²⁰. Именно такого прочтения я придерживался, открывая книгу «Political Liberalism»²¹, которую Ролз подарил мне в 1994-м и о которой попросил меня высказаться на страницах «The Journal of Philosophy»²². Я, признаться, не уследил за последовательным развитием идей Ролза, которое привело его в результате к фундаментальному пересмотру всей теории справедливости. Райнер Форст, который только вернулся после обучения у Ролза, понял все это гораздо лучше меня. Переход от «Теории справедливости» к «Политическому либерализму», как бы то ни было, мне и на тот момент не казался и теперь не кажется по-настоящему обоснованным: Ролз почему-то лишает практический разум (в кантовском его понимании) последнего слова и передает первенство религиозным и другим картинам мира.

Но все-таки первый обмен идеями был столь бесценен, что череда наших с Ролзом дискуссий, дружеских и плодотворных, продолжалась непрерывно вплоть до самой его смерти; он приезжал во Франкфурт и Бад-Хомбург, а в последний раз мы встретились в Калифорнии, на праздновании его восьмидесятилетия. Содержательный итог наших многолетних дебатов в 2019 году подвел Джеймс Гордон Финлейсон, посвятивший этой теме превосходную книгу²³. Финлейсон – один из немногих в англосаксонской среде, кто при рассмотрении наших

20 RAWLS J. *Kantian Constructivism in Moral Theory (Dewey Lectures)* // The Journal of Philosophy. 1980. № 9. P. 515–572.

21 IDEM. *Political Liberalism*. New York: Columbia University. Press, 1993; нем. издание: IDEM. *Politischer Liberalismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.

22 HABERMAS J. *Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism* // The Journal of Philosophy. 1995. № 4. P. 109–131; также издано в: IDEM. *Versöhnung durch öffentlichen Vernunftgebrauch* // *Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1996. S. 65–94.

23 FINLAYSON J.G. *The Habermas-Rawls Debate*. New York: Columbia University Press, 2019.

с Ролзом дискуссий учитывает «Фактичность и значимость», а также в целом мое дискурсивно-теоретическое понимание морали; без этого действительно невозможно анализировать мою критику Ролза – Финлейсону же, как представляется, такой анализ в высшей степени удался.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Кого еще можно вспомнить по части практической философии, если и дальше говорить о ваших контактах в англосаксонском мире?

Ю.Х.: На примере Томаса Нагеля и Рональда Дворкина, учеников Ролза, я лично убедился в том, каким высочайшим уважением Ролз пользовался в своем ближнем кругу. В 1989 году они пригласили меня на свой прославленный и в то же время печально известный коллоквиум в Нью-Йоркском университете (печально известный из-за того, что там, как многие считали, принято было «катком проходиться» по всем гостям), и с тех пор мы постоянно общались и встречались на протяжении двух десятилетий. И с Томом, и с Ронни у меня как-то сами собой сложились очень дружеские – хотя и очень различные по своей природе – отношения. Потом, правда, мои регулярные поездки на их коллоквиум пришлось заменить гостевой профессурой, а работа над последней книгой так меня заняла, что поддерживать эти институциональные связи я уже не имел возможности. Из всех аналитических философов Том Нагель всегда меня особенно впечатлял и в каком-то смысле даже пугал. Устрашало, допустим, как на коллоквиумах, в начале каждого заседания, он давал обобщающее резюме по всем *papers*, которые будущий докладчик успел подать. Резюмировал Нагель блестяще, и мысль каждого гостя, как правило, он формулировал лучше, точнее и остроумнее, чем это пытался сделать сам автор в своих заранее подготовленных текстах; в моем случае по крайней мере было именно так. В интуитивных прозрениях, подтолкнувших Тома к его кантианству и вообще к разработанной у него антинатуралистской философии, проступает, как мне кажется – несмотря на все великолепие аналитической подготовки, – что-то европейское, что-то эмигрантское. Но должен признаться, что перед Нагелем я до сих пор немного робею.

Общение с Ронни всегда было более непосредственным и простым, а к тому же гораздо более активным. У себя дома в Нью-Йорке Дворкин прославился как любитель принимать гостей; он регулярно устраивал большие приемы для избранных. Как-то, например, он познакомил нас с судьей Верховного суда, представлявшим тогда либеральное крыло. Еще вспоминаю, как Ронни после вторжения американцев в Ирак



и свержения Саддама Хусейна пригласил нас на ланч со своим другом – редактором «New York Review of Books»; тот как раз вернулся из Вашингтона и рассказывал нам белый как полотно: «Правительство разрешило нашей армии применять пытки в иракских тюрьмах». Ронни был выдающимся оратором – как юрист он прилагал к этому немало стараний. Он говорил очень свободно и давал блестящие лекции, интересные для любого слушателя и всегда содержавшие в себе некий театральный элемент. Его жена Бетси тоже была интересным человеком: она, допустим, разработала модернистский дизайн их загородного дома на острове Мартас-Винъярд. После ее смерти мы с Ронни стали чаще встречаться в Мюнхене, где у нас были общие друзья через Ирену Брендель, а несколько позже сама она стала второй женой Дворкина. С его книгой «Taking Rights Seriously» я был знаком еще до нашей с ним встречи, и она в какой-то степени повлияла на мои размышления в области философии права²⁴. С тех пор я прочел все книги Дворкина. А вот насколько сами они – Том и Ронни – были знакомы с моими работами, так для меня и осталось загадкой: при всей дружбе и при всем очевидном интересе к дискуссиям я все-таки не убежден, что они вообще читали когда-нибудь мои книги.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Вернемся в Германию и поговорим о ваших здешних коллегах. В какой степени профессиональное общение с немецкими современниками помогало в вашей работе: не могли бы вы рассказать об этом хотя бы в общих чертах?

Ю.Х.: С кругом своих немецких коллег я контактировал, конечно же, не меньше, чем с американцами – потому как минимум, что в Германии мы встречались гораздо чаще. Правда, по библиографиям из наших работ, как мне теперь кажется, о взаимовлиянии судить затруднительно. Идейные импульсы, которыми мы обменивались в этом кругу, оттого не так заметны, что у нас, помимо прочего, всегда был более или менее единый образовательный фон. В годы учения все мы читали одни и те же книги. К тому же обоюдные критические замечания и глубокие дискуссии – с Германом Люббе, например, или с Рюдигером Бубнером – нередко отличались политической окраской.

И все же мы, разумеется, многому друг у друга учились. В качестве примера мне вспоминаются мои собственные – несколько отстраненные – отношения с Михаэлем Тойниссенем; в своей прорывной диссертационной работе – она называлась «Другой» и появилась в 1967 году – он очень убедительно раскритиковал гуссерлевскую теорию интересубъективности,

24 DWORKIN R. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977; нем. издание: IDEM. *Bürgerrechte ernstgenommen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.

а в качестве альтернативы гуссерлевской же теории сознания Тойниссен – кстати, опираясь здесь на, увы, малоизвестную реабилитационную работу Левита «Индивидуум в роли ближнего», – предложил диалогическую философию Мартина Бубера. Мне это показалось очень интересным, и я многократно ссылался на работу Тойниссена, хотя для систематического обоснования моей собственной теории все это не вполне годится. Я подробно высказывался о тойниссеновской философии религии, но, как и в случае с его интерпретацией Гегеля от 1978 года²⁵, особых причин для острых дискуссий здесь не было, так что если я что-то и почерпнул у Тойниссена, то лишь в неявном, имплицитном виде.

ИДЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ...

С кругом немецких коллег я контактировал не меньше, чем с американцами. Правда, по библиографиям из наших работ о взаимовлиянии судить затруднительно.

Идейные импульсы, которыми мы обменивались в этом кругу, оттого не так заметны, что у нас всегда был более или менее единый образовательный фон.

В годы учения все мы читали одни и те же книги.

Наши разногласия с Дитером Генрихом обсуждались в публичной сфере, однако я со своей стороны никакого последовательного продолжения этой теме так и не дал²⁶. О тесном сотрудничестве с Апелем мы с вами уже поговорили. Альбрехт Вельмер и Кристина Лафонт критиковали мою консенсусную теорию истины; их возражения показались мне убедительными, и теорию я скорректировал – она, впрочем, все равно осталась довольно невпечатляющей. Проявилось это с еще большей очевидностью в столкновении с контекстуализмом Дика Рорти²⁷. Как бы то ни было, с Альбрехтом Вельмером мы временами взаимодействовали так тесно (особенно до его реабилитации, а потом еще какое-то время в Штарнберге), что я даже не могу сказать, в чем конкретно состоял его вклад в постепенное развитие концепции коммуникативного действия. Вклад этот усматривается, пожалуй, не в формальной прагматике как таковой, как можно было ожидать, то есть не в том, что касает-

25 THEUNISSEN M. *Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978.

26 Материалы на этот счет можно найти в: HENRICH D. *Konzepte. Essays zur Philosophie in der Zeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987; см. также статью «Возвращение к метафизике?» в: HABERMAS J. *Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. S. 9–60.

27 См.: HABERMAS J. *Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende // Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999. S. 230–270.



ся философии языка, – скорее его следует искать в антропологических изысканиях о мифическом и современном миропонимании (начало первого тома). Справедливости ради нужно упомянуть еще вот о чем: когда вышла «Фактичность и значимость» с базовой идеей о равноисходности либеральных гражданских свобод и демократических прав социального участия, Альбрехт странным образом возроптал – я его так до конца и не понял. Он полагал почему-то, что мне следовало непременно сослаться на его лекцию по этой теме, которую он читал на каком-то съезде во Франкфурте, пока я работал над книгой²⁸.

В Штарнбергском институте на послеобеденных коллоквиумах по четвергам у нас шли крайне оживленные дискуссии с моим другом Эрнстом Тугендхатом, который очень любил поспорить и посостязаться; по части формальной семантики я многому от него научился. Исключительное противопоставление *формальной* семантики с одной стороны и *эмпирической* прагматики с другой – а Тугендхат тоже отстаивал эту традиционную позицию – у меня, конечно же, вызвало возражения, поскольку такое эксклюзивное подразделение не позволяет как следует подступить к *формальной* прагматике. Кроме того, горячие споры велись у нас тогда по поводу философии морали, к которой мы с Тугендхатом тоже подходили по-разному. При всем том наше поколение уже осознавало, что дверь в мир для нас делается англосаксонская философия.

Ш.М.-Д., Р.Й.: При всем доминировании англофонов в академической среде стипендиаты из стран Европы и Азии в огромном количестве рвались на ваш франкфуртский коллоквиум, а сами вы проехали по всей Европе и повсюду нашли коллег...

Ю.Х.: Да, у меня, как и у всех, были взаимосвязи со множеством европейских коллег, в том числе и довольно близкие. Встречались мы, впрочем, по большей части на лекциях и конференциях; иногда удавалось погостить где-нибудь пару недель, да и то в редких случаях. В этом смысле преподавательская деятельность во Франции, Италии или Испании значительно отличалась от таковой в США, куда можно было ехать всей семьей на целый семестр. В Европе к тому же общаться подчас приходится на третьем языке. Уже поэтому, как мне кажется, содержательное взаимовлияние у нас было на порядок ниже. Но можно отметить и другое: профессиональный обмен с европейскими коллегами всегда был более эгалитарным,

28 WELLMER A. *Bedingungen einer demokratischen Kultur. Zur Debatte zwischen «Liberalen» und «Kommunitaristen»* // BRUMLIK M., BRUNKHORST H. (Hg.). *Gemeinschaft und Gerechtigkeit*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1993; перепечатано в: WELLMER A. *Endspiele. Die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993. S. 54–80.

свободным от подавляющего англосакского фактора. В то же время сами европейские вселенные, внутри которых мы обитаем, оказываются столь различными, что обоюдная критика вынуждена преодолевать непростые препятствия и высокие барьеры, а такое положение дел, конечно, побуждает больше к конкуренции, чем ко взаимообучению.

У меня, для примера, были вполне коллегиальные и товарищеские отношения с Мишелем Фуко, Пьером Бурдьё и Жаком Деррида. Как-то Фуко на целых пять недель пригласил меня в Коллеж де Франс. Встретившись с ним Париже, мы поговорили о наших путях в науке, которые не были, как выяснилось, параллельными и кое-где соприкасались. Мы условились встретиться снова на следующий год и обсудить работу Канта «Что есть Просвещение?»; Фуко, к сожалению, вскоре умер, и этим планам не суждено было сбыться. Место Фуко на том форуме заняли Хьюберт Дрейфус и Пьер Бурдьё; с ними мы несколько раз пообедали вместе, однако по-настоящему плодотворных бесед у нас тогда не вышло.

Самые близкие и самые искренние отношения сложились у меня – несмотря на все пересуды – с Жаком Деррида: после того, как под конец 1990-х мы все-таки преодолели известное взаимное непонимание, которое, к несчастью, в свое время наделало много шума. Встретились мы с ним между прочим по случаю его прибытия в Эванстон, где я какое-то время преподавал в Северо-Западном университете после выхода на пенсию во Франкфурте. Потом мы встречались еще много раз и приглашали друг друга то в Париж, то во Франкфурт. Когда Деррида произнес благодарственную речь в Паульскирхе по случаю вручения ему Премии Адорно (2001)²⁹, моя жена – а обычно она ведет себя очень сдержанно – вдруг вскочила после аплодисментов, чтобы лично его поздравить. В самой речи Деррида, не пытаясь воспроизводить каких-то адорновских манер, воспроизвел вместо этого сам адорновский дух; становилось понятно, что выступает – наверное, единственный – в буквальном смысле конгениальный лауреат. И дело не в том, что Деррида был как-то особенно хорошо знаком с систематической работой Адорно: просто в ходе своего *close reading* он натолкнулся у Адорно на своего рода идейную жилу, удивительным образом очень близкую к мышлению самого Деррида. Мы с Уте между прочим оставались с ним на телефонной связи, в том числе и в последний год его жизни – практически до последних дней.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Как вы полагаете, чем в первую очередь обуславливалось обоюдное коллегиальное восприятие внутри

29 DERRIDA J. *Fichus. Frankfurter Rede*. Wien: Passagen-verlag, 2003.



этого интернационализованного профессионально-философского дискурса? В интерпретации классиков, как кажется, все вы не слишком сходились...

Ю.Х.: Не сходились, это верно – особенно если говорить о моем подходе. Кант, правда, оставался общей точкой схождения, но только не в том, что касается герменевтического разъяснения спорных интерпретаций; от философии Канта отталкивались, пожалуй, при построении разного рода теорий морали и теорий права – или, как в случае Деррида, при сведении различных теоретических подходов воедино. С Гегелем, по-моему, все было иначе, хотя, стоит добавить, сам я не участвовал в дискуссиях об истолковании его текстов. Дитер Генрих вел семинары и лекции по Гегелю сначала в Колумбийском университете, а потом в Гарварде, причем участие там принимал в том числе и Хилари Патнэм. Имел место и обратный процесс: когда прагматический подход начал утверждаться повсеместно, в Федеративной Республике большим влиянием стали пользоваться новые интерпретации Гегеля, предложенные у Роберта Пиппина и Терри Пинкарда. Я достаточно давно знаком с обоими, однако свою точку зрения на их подход изложил лишь недавно в своей последней книге³⁰. Пинкард преподавал в Северо-Западном университете в те же годы, что и я, а на одном семестре он даже посещал мой семинар; так мы сблизились и начали общаться семьями. Вместе с Пинкардом мы побывали и в Вашингтоне, и, на летних каникулах, в Южной Франции. Электронными письмами мы иногда обмениваемся до сих пор.

Раз уж мы заговорили о международных контактах с гегельянами, то, конечно, я обязательно должен рассказать о своей дружбе с Чарльзом Тейлором. Еще в начале 1970-х Чак пригласил меня в Монреаль; я выехал из Нью-Йорка, и это была моя первая и единственная междугородняя поездка на автобусе типа «Greyhound». С семьей Тейлоров у нас завязались очень тесные взаимоотношения, которые активно продолжались вплоть до недавних пор, а с самим Тейлором у меня было немало оживленных дискуссий. Правда, обсуждали мы в основном темы систематического порядка, а собственно о Гегеле разговаривать не приходилось. К гегельянству мы подходили по-разному, но сближал нас, конечно, общий образовательный фон – европейский, а не американский. Тейлор учился в Париже и в Оксфорде. Первая общая тема, на которой мы с ним сошлись, – это логика общественных наук; здесь мы по-прежнему ссылались на свои книги конца 1960-х. Взгляды Чака на теорию познания, сложившиеся в том числе под влия-

30 HABERMAS J. *Auch eine Geschichte der Philosophie. Bd. II: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen.* Berlin: Suhrkamp, 2019. S. 505–555.

нием Мерло-Понти, в поздние годы всегда казались мне – если можно так небрежно высказаться – симпатичными.

ИДЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ...

В 1970-е мы приглашали друг друга в свои университеты: я его – в Штарнберг, а он меня – в Оксфорд, где Чак преподавал с 1976-го по 1982-й. Поездка у меня вышла довольно знаменательной – и не только из-за устрашающе-торжественного приема за неожиданно пышным столом, но в первую очередь благодаря тому, как на второй день моего пребывания в Оксфорде Чак организовал нам ланч с двумя тогдашними философскими звездами мирового значения: Ричардом Хейром и Питером Стросоном. Это был даже не просто ланч, а скорее деловой обед, на котором мне предстояло обсудить с Ричардом Дворкином (мы еще не были с ним знакомы на тот момент) работу Ролза «Two Concepts of Rules», уже очень известную, но мною, увы, еще не читанную³¹. За день до встречи, благодаря одному доброжелательному коллеге, мне все-таки удалось достать этот текст. Судя по всему, я так волновался, что теперь даже не помню, как в итоге прошла сама встреча; надеюсь, что без особых эксцессов. Но в результате с Чаком мы общались сравнительно тесно, причем на протяжении десятилетий: он, скажем так, католический неоаристотелианец, я кантианский прагматист. Встречались мы по большей части в США и неизменно обсуждали частные вопросы этики и философии языка. В последний раз я видел Чака в день своего девяностолетия.

Ш.М.-Д., Р.Й.: До сих пор мы говорили в основном о коллегах-мужчинах, теперь же хочется спросить и о коллегах-женщинах тоже. Пока из них вы упомянули только Ренате Майнц, которая стала вашей преемницей в Обществе Макса Планка, и Кристину Лафонт, которая защитила диссертацию во Франкфурте под вашим руководством; но больше никого. Почему так?

Ю.Х.: Что ж, до сих пор вы спрашивали о моем поколении и об учениках, которыми я горжусь. А в моем поколении *женщин-философов* было крайне мало. С Ренате Майнц у меня еще с начала 1960-х были хорошие личные отношения, однако наши исследовательские интересы никак особенно не пересекались. В Штарнбергском институте мы довольно тесно общались по рабочим вопросам с Гертруд Нуннер-Винклер; потом она защитила докторскую под руководством Майнц, что, на мой взгляд, уже говорит о высоком качестве ее работы.

В нашей рабочей группе по теории права решающую роль играла Ингеборг Маус. В 1960-е два моих докторанта (из че-

31 RAWLS J. *Two Concepts of Rules* // The Philosophical Review. 1955. № 54. P. 3–32; нем. перевод: IDEM. *Zwei Regelbegriffe* // HÖFFE O. (Hg.). *Einführung in die utilitaristische Ethik. Klassische und zeitgenössische Texte*. München: C.H. Beck, 1975. S. 96–120.



тырех) были женщинами (добавлю, что за всю свою жизнь я руководил не более чем дюжиной докторантов), и все же моя репутация в плане феминизма оставляет, конечно, желать лучшего. Нэнси Фрейзер, с которой в целом меня связывали долгие дружеские отношения и явная близость в теориях, несколько десятков лет назад уже тыкала меня носом в это обстоятельство, причем публично и довольно бесцеремонно.

Франкфуртскую традицию в следующем поколении наравне с Томом Маккарти, Акселем Хоннетом, Райнером Форстом, Петером Низеном, Клаусом Гюнтером и Бернхардом Петерсом представляют, как вы уже упомянули, и коллеги-женщины, влиятельные и пользующиеся международной известностью: Сейла Бенхаbib, например, и Кристина Лафонт. Но к этой интереснейшей главе в истории философии, к этому новому поколению невозможно даже подступить в обсуждении, не сказав сначала о четырех моих первых ассистентах – помимо Вельмера, это Негт, Оффе и Эверман. Да и мой собственный учебный процесс, как я несколько раз – правда, мимоходом – упоминал, невозможно себе представить без многочисленных импульсов и инициатив, шедших ко мне на протяжении десятилетий от моих коллег и сотрудников – как мужчин, так и женщин. Но это требует подобающего рассмотрения и уже выходит за рамки нашего разговора.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Как вы смотрите на исследовательский взаимодействие между европейскими и англо-американскими университетами, все больше входящий в норму? Такая интернационализация философии началась на ваших глазах, а теперь она заходит все дальше. Что изменилось за это время?

Ю.Х.: Думаю, что у британских и американских коллег моего поколения по-прежнему сохранялся определенный интерес к немецкой послевоенной философии: такое во всяком случае у меня сложилось впечатление. Многие из этих людей вообще учились у преподавателей, которые либо помнили еще «старые» немецкие университеты, либо сами бежали из Германии. В нашем поколении, более позднем, американские коллеги скорее всего по-прежнему усматривали определенный «немецкий» фон, неплохо им всем знакомый. Можно ли так сказать сегодня? Обращают ли вообще теперь внимание в США на европейское происхождение того или иного коллеги? Глядя, допустим, на Райнера Форста – сделавшего успешную карьеру на международном уровне и добившегося широкого признания, особенно в американской политической теории, – я задаюсь вопросом: а воспринимают ли его в целом как немца и имеет ли это сегодня вообще хоть какое-нибудь значение? Не

привел ли международный обмен к тому, что теперь просто снялись все национальные различия? Судить об этом лучше вам, а не мне.

ИДЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДРУЗЬЯМИ И КОЛЛЕГАМИ...

Ш.М.-Д., Р.Й.: Решающую роль тут играет, конечно, еще и языковая компетенция...

Ю.Х.: Привилегированное положение английского языка может повлечь за собой и другие привилегии. Будем честны: в США и Великобритании многих моих коллег и ровесников приняли далеко не в той мере, в какой они заслуживали: так можно сказать, допустим, и о Тугендхате, да и о Лумане тоже. И во многих случаях (хотя и не в тех двух, которые я назвал) объясняется это отсутствием переводов – увы, подобную лакуну невозможно заполнить авторскими публикациями на плохом английском.

Ш.М.-Д., Р.Й.: Можно ли сказать, что немецкий как язык науки свое уже отслужил? И как это может сказаться на философских исследованиях? Если поставить вопрос иначе: как вы относитесь ко все продолжающемуся разъединению научных дискурсов и национальных языков?

Ю.Х.: Что ж, философия раннего Нового времени отказалась от латыни как профессионального языка и перешла на языки национальные; пошло ли это на пользу, с уверенностью сказать не могу. Но мне, конечно же, вспоминается, как в конце 1960-х – начале 1970-х американские студенты из движения SDS массово и с небывалым рвением бросились изучать немецкий, чтобы иметь возможность прочесть Гегеля и Маркса в оригинале. Здесь напрашивается довольно простое умозаключение: если есть тексты, по-настоящему интересные для студентов, то и язык оригинала будет, конечно, востребован; как минимум студенты будут учитывать тесную взаимосвязь между самим устройством мысли и тем языком, на котором мысль устроена.

Но все это по-прежнему касается национальных языков. А возможно ведь и возрождение *lingua franca* – почему нет! Английский язык благодаря своей паратактической подвижности открывается, в том числе для мыслительных и выразительных форм из гипотактического языка – кантовского, допустим, и гегелевского. У немецких коллег английский, конечно, бывает порой похуже – как и латынь у философов из эпохи Высокого Средневековья была хуже классической. Зато студенты со всех земель и из всех союзов могли свободно общаться между собой на этой латыни. Впрочем, даже повсе-



местное проникновение английского языка не позволяет нам в полной мере конкурировать с китайцами, которые сегодня очень уверенно входят в философское пространство.

Сам я, кстати, пишу философские тексты на английском в том лишь случае, когда много времени провожу в англоязычных странах; в основном я по-прежнему пользуюсь родным немецким. Раньше его называли языком «материнским»: что ж, германистика – это ведь дисциплина романтического происхождения. Естественно, на родном языке мысль выражается с гораздо бóльшим количеством нюансов. Но литературную сноровку можно приобрести в любом языке – не обязательно для этого говорить на нем от рождения. А всякая оригинальная философская мысль – вот к чему я здесь подводил – стремится именно к литературной, неповторимой, выразительной форме.

Перевод с немецкого Дмитрия Колчигина